

**А. Ю. СОГОМОНОВ¹**¹ Институт социологии ФНИСЦ РАН.

109544, Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 5, стр. 1.

«ИГРЫ» ПРОСВЕЩЕНИЯ: О ВКЛАДЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ШТУДИЙ В СОЦИОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ РАННЕГО МОДЕРНА В РОССИИ

Аннотация. Эссе сконструировано в виде социологической реинтерпретации основных идей и результатов исследования, содержащегося в книге А. Строева «Авантюристы Просвещения». Его методология представляет собой редкий для отечественной науки пример синтеза исторических и филологических подходов к изучению уникального феномена авантюризма в эпоху Просвещения. Автор монографии, известный специалист в области мировой литературы, исследует судьбы европейских авантюристов как на Западе, так и в их странствиях и приключениях в Российской империи второй половины XVIII в. В те времена понятие «авантюрист» не было негативно окрашенным и характеризовало скорее свободную личность в состоянии свободных перемещений — территориальных, текстуальных и социальных. Автор книги сконструировал репрезентативную базу авантюристов, преимущественно французов и итальянцев, среди которых были как известные персонажи, к примеру Калиостро и Казанова, так и яркие личности, совершенно не известные ранее, но оставившие заметный «след» в истории России. Эти авантюристы, вопреки расхожему мнению, отнюдь не были мошенниками и шарлатанами; социальный обман не определял их зонтичную идентичность. Они — творческие люди, высокообразованные и талантливые писатели, а в широком смысле — «граждане мира». Единичная идентичность их не устраивала, они творили свои биографии как художественное произведение, постоянно меняя занятия и имиджи. Предложенные ими поведенческие образцы апеллировали к игре и лицедейству. Подобная манера поведения настолько привлекала внимание элит и эпатировала широкую публику, что в итоге это способствовало рождению новых социальных ролей в статичном российском обществе. Авантюристы продвигали ценности свободы и равенства, республиканизма и сетевых сообществ и сами демонстрировали образцы

высокой мобильности. Выступая в роли «консультантов» и «проводников» просветительских идей для властей и аристократии, они прививали им вкус к социальному воображению и утопическому мышлению. Французские философы-просветители, которые посещали Россию в качестве путешествующих авантюристов и с которыми Екатерина поддерживала тесные и уважительные отношения, тем не менее почти никак не повлияли на «курс» российской модернизации. Никому из них по-настоящему не удалось подкрепить свои теоретические идеи российской практикой, а императрица чаще всего отторгала их рекомендации как неадекватные нашим историческим условиям и тем самым закрепляла в отечественной политике и культуре установку на антиуниверсализм. Мотивированные исключительно эгоистическими соображениями и целями, авантюристы подспудно способствовали трансгрессии (первая «культура отмены») множества норм и ценностей императорской России в пользу принципов и стандартов становящегося раннего Модерна. Однако эти долгосрочные последствия пребывания авантюристов в стране имели непредумышленный и во многом случайный характер.

Ключевые слова: синтез гуманитарного и социального знания; интеллектуальная история; эпоха Просвещения; Новое время; ранний Модерн; европейские авантюристы в России; просветители и власти; раннемодернистские социальные роли и идентичности; генезис современного типа личности.

Для цитирования: Согомонов А.Ю. «Игры» Просвещения: о вкладе исторических штудий в социологическую теорию раннего Модерна в России // Социологический журнал. 2024. Том 30. № 2. С. 139–162. DOI: 10.19181/socjour.2024.30.2.7 EDN: SZRLJF

Пристальное внимание социологов к историко-культурным контекстам эпохи Просвещения, несмотря на традиционное пренебрежение ко всему «до-современному», возникло сравнительно недавно. В последней трети прошлого столетия — в значительной степени под влиянием трудов М. Хоркхаймера, Т. Адорно, М. Фуко, Р. Козеллека, Р. Вильямса, А. Лавджоя и К. Скиннера — в мировой науке окончательно оформились новые отраслевые дисциплины, такие как историческая социология и антропология, интеллектуальная история, социология литературы и культуры, история базовых понятий, без которых сегодня трудно представить большую «семью» социальных наук. Все они в той или иной степени сосредоточены на изучении «переходного времени» между двумя эпохами, то есть ранним Новым временем и Модерном в его национальных модификациях. Несмотря на определенную институциональную обособленность этих автономных дисциплин (в том числе в виде специализированных университетских курсов), тематические и методологические границы между ними жестко не прочерчены. Что работает скорее во благо знаниевому прогрессу. Теории среднего уровня и эмпирические штудии выступают мотиви-

рующим фактором для смежного сотворчества социальных ученых и традиционных гуманитариев. Их научные гипотезы и идеи сегодня свободно мигрируют, создавая благоприятную эпистемологическую платформу для перспективных научных поисков.

Принято считать, что современная социология родилась прежде всего в результате слияния классической философии и истории, по крайней мере, такого мнения придерживались ее «отцы-основатели», а сегодня — почти все авторы учебников по истории социологии. Со временем интерес позитивистов к своим истокам заметно ослаб, а роль побудителя к развитию перешла к экономическим наукам. Но в последней трети XX в. наметилась обратная тенденция: бум публикационной активности социологов оказался в большей степени связан с гуманитарным знанием. Обновленный постмодернистский синтез стал крайне продуктивным для развития как социальной истории, так и антропологически ориентированной социальной науки. Исследователи-социологи и поныне ищут «вдохновение» к познанию актуальной современности в прошлом, а историки, напротив, освоив генеалогические подходы, начинают «открывать» даже в отдаленных периодах те значения, которые исконно приписываются социологическому типу анализа.

Однако различными все еще остаются методологические перспективы двух наук. Для историков «факт» ценен сам по себе, и они традиционно отталкиваются именно от него и вовсе не обязательно выстраивают длинные цепочки причинно-следственных взаимозависимостей. Возможно, поэтому они по-прежнему видят свою задачу в источниковедческом «очищении» свидетельств давних времен для придания им статуса «исторического факта» и часто не различают объект и предмет в своих исследованиях, ибо только факт выступает для них и тем и другим одновременно. Социологи, апеллируя к истории, мыслят исключительно ретроспективно: для них точкой отсчета выступают завершенные в своем развитии социальные явления, образы которых они ищут в прошлом. И только в ретроспективе обнаруживают исторические развилки, разные сценарные планы и в целом социально-смысловую эволюцию современного общества и человека современного типа во всей их сложности. Свойственный только им тип научного мышления позволяет видеть в прошлом магистральные и случайные процессы и выделять в хаосе исторических фактов такие когнитивные объекты, которые свидетельствуют об универсалистской природе проекта Модерн.

Сегодня же мы имеем возможность не противопоставлять, а сближать эти две познавательные перспективы.

В таком сциентистском ключе в фокусе внимания по праву оказывается эпоха Просвещения, благо письменных источников о ней (в том числе еще не «открытых», или пока не опубликованных, или

просто хорошо «стертых» из академической памяти) несметное множество. Для историков и филологов тот удивительный период развития цивилизации всегда был привлекательным, хотя обычно внимание ученых концентрировалось на реальных событиях и политических фигурах первостепенной важности. Сейчас же исследовательский фокус смещается на маргиналии — изучение мыслителей и общественных протагонистов второго плана. Это открывает интересные перспективы, в особенности для начинающих ученых, ибо им не составляет большого труда сконструировать аутентичную академическую нишу и пребывать в ней долгое время без опасения, что внимание к их научному объекту будет быстро исчерпано.

К сожалению, нынешние потоки междисциплинарных публикаций по истории и культуре Философского века не следуют основным социологическим маршрутам. И это в большей степени характерно для России, где изучение отечественного наследия эпохи Просвещения как *per se*, так и для лучшего понимания генезиса российской версии Модерна не стало приоритетной задачей. При этом любопытно, что если в западной научной традиции эта проблематика вписана в предметное поле социальной истории и лишь отчасти интересует специалистов в области социологии литературы и культуры, то у нас, напротив, все сюжетное полотно «просветительского движения» присвоено историками литературы и философии, а в более широком плане — русистами. В итоге этот важнейший период эволюции российского общества и культуры, в том числе в плане его влияния на весь последующий идейно-политический курс российской модернизации, эмпирически изучен слабо, а теоретически и вовсе остается неосмысленным. Так образовалась громадная лакуна в нашем обществоведении: изучение идейно-институциональных «истоков» осталось без должного академического присмотра. Этим можно объяснить великое множество квазинаучных спекуляций на темы исторической идентичности, «особого пути» и российских традиций в целом. Что, в свою очередь, открывает дорогу лавине «мусорных» публикаций, разобраться в научной валидности которых порой не по силам подготовленным специалистам, не говоря уже об обычных читателях. Одним словом, предметное поле генезиса российского Модерна из научной области историков литературы и философии незаметно перешло в монопольное ведение интеллектуалов-любителей, заангажированных публицистов и псевдоидеологов.

Очевидно, ожидать внезапного академического прозрения и экспоненциального роста прикладных социологических работ о русском Просвещении в ближайшем будущем не приходится. Для этого потребовалось бы, как минимум, перестроить сегодняшнюю модель научной подготовки молодых ученых. Ведь такая специализация предполагает совершенно иной характер гуманитарной и языковой подготовки, нестандартных исследовательских навыков и компетенций. Поэтому у со-

циальных ученых пока остается одна реальная перспектива — интенсифицировать междисциплинарное сотрудничество и активнее включать в свой научный оборот результаты исследований из смежных областей социально-гуманитарного знания. Пожалуй, по-другому вступить в публичную полемику с авторами теорий альтернативного «русского пути» вряд ли удастся. Развитие социальных сетей и полная безнаказанность шарлатанов и фрондеров от науки — будь то Интернет или независимое книгоиздательство — чреват срывом публичной миссии отечественного обществоведения. И, пожалуй, никогда еще со времен открытой дуэли славянофилов и западников толкование наших исторических истоков, традиций, ценностей и идентичности не было настолько оторванным от академической науки. Это, безусловно, создает серьезные культурные риски для страны и мировой политики в целом.

Системные исследования, призванные заполнить эпистемологическую лауну, — вероятно, дело будущего, но уже в последнее время стали появляться публикации, которые в совокупности шаг за шагом приближают нас к более адекватному социологическому пониманию того, *с чего и как* начинался российский проект Модерна. Особое место здесь по праву принадлежит монографии видного историка мировой литературы Александра Строева «Авантюристы Просвещения». По охвату материала, глубине проработки источников, оригинальности гипотез и широте поставленных вопросов монография выходит далеко за пределы традиционной филологии. Автор многие годы посвятил изучению литературы и культуры Философского века и, безусловно, относится к числу редких знатоков Просвещения и его богатого наследия. В 1998 г. вышло первое издание книги, а в 2023 г. — второе, исправленное и дополненное [3]. Этот труд совсем не просто определить жанрово, но одно очевидно: знакомство социальных ученых с идеями и подходами этой книги позволит куда корректнее судить о сущности и особенностях российской модернизации. Обычных рецензий на эту книгу будет, наверное, немало. Мне же сейчас представляется более актуальной иная задача: предложить рассуждение о том, как ее основные идеи могут быть инкорпорированы в общее социологическое представление об уникальном социокультурном феномене «авантюризма», а главное, выразить свою точку зрения о том, какую роль визиты европейских авантюристов в Россию второй половины XVIII в. сыграли в генезисе отечественного Модерна.

Александр Строев начинает свое сочинение с парадоксального суждения. Оценивая «дух времени» всего Философского века, он утверждает: именно там, где человеческий разум был возведен в ранг высшей ценности и превращен в объект культового почитания, и начинали твориться всякие «чудеса», а поведение людей все больше подчинялось иррациональным мотивам. Мистическое знание и оккультизм, непривычные формы социальности захватывали сердца миллионов.

На Западе рациональные теории на исходе Просвещения породили великий террор, а в России привели к рождению утопизма и мистического консерватизма. Философы-энциклопедисты всухую проиграли тем, кто вслед за Руссо апеллировал не к рассудку, а к чувствам людей. Нестандартный Модерн на передний план выводил тех, кого в XIX столетии позитивисты сочтут маргиналами. В эпоху Просвещения их именовали «авантюристами» и вкладывали в это понятие смысл, весьма отличный от более поздней негативной семантики. Классическая социология не смогла определить их «классовую позицию» в протобуржуазной социальной структуре, не увидела их функциональной роли в общественном разделении труда, поэтому никак не охарактеризовала их историческую роль. В итоге авантюристы раннего Нового времени были выведены за скобки социологического дискурса.

Очевидно, А. Строев не первый обратил внимание на этот феномен Просвещения. О путешествиях в Россию во второй половине XVIII в. Казановы, Калиостро, д'Эона, Бернардена де Сен-Пьера и ряда других «отчаянных» европейцев информированный читатель, конечно же, был осведомлен и ранее, но до публикации книги эти, казалось бы, единичные и партикулярные визиты искателей приключений не расценивались как фактор, сыгравший серьезную роль в дальнейшем развитии страны.

К середине XVIII столетия Старый Свет постепенно становился, по меткому выражению А. Строева, «французской Европой», настолько сильным во всем было галльское влияние: читали одни и те же книги, одинаково говорили, думали и одевались [3, с. 12]. В этом утверждении, безусловно, содержится некоторое преувеличение, по крайней мере, касательно России. И все же следует признать: подражание всему французскому, особенно в годы правления Екатерины Великой, было очень масштабным, хоть и далеко не всеобъемлющим. Как показывают недавние исследования, даже проникновение в русскую повседневную культуру французского языка на самом деле было довольно поверхностным [2]. И это несмотря на хождение огромного множества заимствованных сложных понятий, бытовых слов или изобретенных на базе галлицизмов новых лексем в устной и письменной речи, не говоря уже о торжестве сословной нормы коммуницировать в «высшем свете» на французском языке.

«Западный фактор» на старте российской модернизации не стоит ни преуменьшать, ни преувеличивать. Духом французского энциклопедизма были пронизаны почти все ранние социальные и политические инновации в империи, а также низовые практики осовременивания общественных отношений и повседневной культуры. Тем не менее конструирование солидарных норм и стандартов, к примеру, в отношении ожидаемого и приемлемого в образцах поведения, высказываний, рассуждений и даже умствований происходило не только

в логике простого подражания зарубежным паттернам. Определение баланса автохтонного и имитационного в тех социокультурных процессах, собственно, и представляет для академической науки предмет первостепенной важности.

Свою задачу А. Строев видит в раскрытии лишь одного из аспектов этой широкой темы, а именно соотношения универсального и локального в процессе нашей вестернизации. И поскольку «универсальное начало», пусть и неглубоко, прижилось на русской почве довольно быстро, интерес для образованных подданных империи стали представлять в первую очередь социальные антиподы. В данном случае — путешествующие европейские авантюристы. Они проникали в страну и в более раннее время, но именно во второй половине века Просвещения превратились в особый магнит, притягивающий к себе внимание русских элит и совсем неименитых обывателей. Так единичные вояжи на европейский Север России во второй половине столетия сменились относительно частым блужданием авантюристов по территории постоянно расширяющей свои пределы империи. Численно их было не так много. Казанова упоминает в своих мемуарах до полусотни таких искателей приключений, но это был активный и весьма творческий дивизион. И в их контактах с россиянами всех уровней, как в зеркале, отразились тайные желания, надежды, страхи и фантазмы передовой части российского общества [3, с. 13].

Прежде всего важно установить, почему европейские «авантюристы в России» обрели особую социальную роль и почему их жизнедеятельность оказалась чрезвычайно важна для генезиса общества модерного типа. Если развить базовую гипотезу автора и придать ей социологический вид, то можно утверждать, что немногочисленный «социальный тип» европейских авантюристов в генеральной совокупности явил собой уникальный социокультурный феномен как аутентичное порождение «поисковой» эпохи. Их не следует путать ни с прохвостами раннего Нового времени (то есть с героями «плутовского романа»), ни с аферистами уже более зрелого Модерна. Европейский капитализм никогда не обходился без людей этого типа. Хотя, разумеется, социальный обман — всеобщая аномалия человечества. Однако именно мошенничество не было зонтичной идентичностью авантюристов Просвещения. В их жизни, конечно, не обходилось без шарлатанства, и все же они были историческими фигурами совершенно иного склада и формата. При этом не следует поддаваться соблазну отнести европейских авантюристов к частной разновидности более широкого феномена «чужаков», известного в социологической теории со времени написания одноименного эссе Г. Зиммелем. Подобное отождествление, при всей его легкости и даже познавательной навязчивости, на самом деле некорректно. Чужаки для Зиммеля суть внеисторический тип личности, они существовали

всегда и везде. Их социальная формация подчеркивала их близость и одновременно далекость локальной социальной среде, соответственно — чуждость происхождения. Чужаками люди становились не в силу индивидуальных особенностей, а по причине географической подвижности и исключенности из контекстов совместности (подобно странствующим торговцам).

Авантюрист Просвещения — это разносторонний и совершенно уникальный социальный типаж. Он — бесстрашный путешественник и вдумчивый наблюдатель, гений коммуникации и изобретательности, фантазер и интеллектуал, рефлексивный аналитик и, как правило, яркий литературный талант. В традициях русской семиотической школы А. Строев рассматривает фигуру авантюриста в сплетении реальных судеб, художественных нарративов и сложных социопространственных мобильностей. И тогда его жизнь предстает перед нами в свете трех кругов перемещений: в обществе, в культуре и в мире [3, с. 15]. В авантюристах Просвещения мы обнаруживаем лишь внешнее сходство с так называемыми «чужаками». Напротив, в тех новых для них средах, где они по своей доброй воле оказывались, их отнюдь не воспринимали чуждыми и, даже вопреки здравой логике, воспринимали вполне «своими» и удивительно притягательными для общения и обмена социальным опытом. Разве не таковым теоретическая социология рисует раннего модернистского субъекта, всячески подчеркивая его упорство в труде, аутентичность собственного «Я», стремление к горизонтальной и восходящей мобильности, коммуникативной работе с нарождавшимся общественным мнением, установку на проектную деятельность и, что, пожалуй, самое главное, на «разрыв» с традициями, социальными ожиданиями и обычаями.

Строев в силу своего литературоведческого бэкграунда не склонен к социологическим обобщениям, однако сам предмет исследования с неумолимой силой ведет его к этому. И местами книга написана именно в жанре социологии литературы. Кстати, одна из первых диссертаций на тему европейского авантюризма, принадлежащая С. Рот, — «Приключение и авантюристы XVIII века» (1980) — имела характерный подзаголовок: «опыт литературной социологии». В России же пока опубликовано немного работ, по которым можно составить корректное представление о жанре социологии литературы, чаще это словосочетание используется метонимически. В силу этого А. Строеву приходится опираться прежде всего на громадную библиотеку эмпирических исследований о скитаниях авантюристов и самостоятельно формулировать концептуальный нарратив. При этом он констатирует, что многие публикации построены на легендах, в них фактическая история авантюристов неотделима от вымысла. Вспомнить хотя бы для примера «сказания» о жизни Казановы и Калиостро — об их приключениях в России в частности. Но это уже имеет большее значение

для историко-биографических изысканий, чем для социологов, более сконцентрированных на предмете, нежели на объекте.

Александр Строев проводит строгий отбор персонажей по трем параметрам. Авантюрист должен был быть: (1) выходцем из третьего сословия, (2) человеком пишущим и (3) оставившим заметный след в истории России. Таким образом, автор включил в свою базу индивидуальных кейсов 20 подлинных героев, среди которых преобладали французы и итальянцы. И еще приблизительно две дюжины авантюристов, жизнь которых не соответствовала строго выделенным критериям, изредка упоминаются автором, а их биографические «следы» не остались за пределами его исследовательского интереса. Довольно часто он обращается и к странствующим энциклопедистам, которые, строго говоря, не попадали под выделенные параметры, но в какой-то момент своей жизни выполнили схожие исторические роли. В результате источниковая база книги оказалась настолько внушительной, что сомневаться в репрезентативности результатов исследования не приходится. Кроме того, многие документы, в том числе найденные во французских и российских архивах, предъявлены читателям впервые, все они переведены А. Строевым на русский язык высокохудожественным слогом и опубликованы в конце книги в виде текстовых приложений.

Современному обществоведы, который не готов погружаться в перипетии давних жизненных историй, важно понимать прежде всего, почему выход европейского авантюриста на историческую авансцену стал огромным шагом на пути к Модерну? Чтобы ответить на принципиальный для нас вопрос, потребуется более тщательное рассмотрение того, как вписывался этот необычный субъект в социальное пространство Просвещения. И здесь мы переходим с площадки литературоведения на более привычное нам поле исторической социологии.

В канун эпохи Просвещения слово «авантюрист» имело уничижительное значение, а сама высокая территориальная и социальная мобильность воспринималась негативно, как угроза. В раннее Новое время все еще преобладала гносеологическая оптика статичного общества. Само это слово французского происхождения (*avanturier*, «искатель приключения»). Оно закрепилось в европейских языках в XVII столетии и использовалось довольно редко, а толковалось по-разному. Позднее, уже в Философский век, авантюрист стал устойчиво восприниматься как «темная личность», ибо его жизненная философия сводилась к тому, «чтобы ничего не иметь, ни к чему не привязываться, избегать работы и семьи и все считать своей вотчиной» [3, с. 21]. Но нет, он никакой не мошенник и не интриган, просто это невероятно свободолюбивый человек, с которым случаются всякие авантюры. Он мотивирован на биографический успех и достигает его при помощи нетрадиционных инструментов. Отвергает все стандартные жизненные пути, и прежде всего формальный семейный статус и сословную

карьеру. Причем делает он это преднамеренно, хотя изредка и по необходимости. Тем самым своим бытийным образцом авантюрист придавал архаичному обществу некоторый динамический импульс. И этим он бесконечно далек от зиммелевского «чужака». То есть, по сути, авантюрист выступал в роли социальной «смазки», как метафорично выразился автор книги, способствуя большей связности (когезии) сословного общества, медленно, но неуклонно погружавшегося в трансформационный кризис. Приходящий на смену ранний Модерн как раз нуждался в свободных радикалах, именно они создавали новые паттерны поведения и социального взаимодействия, отвергая большинство до-модерновых норм и стереотипов «нормальности».

Не в этом ли кроется причина невероятной привлекательности европейских авантюристов для российской аудитории? Известно, что они не просто эпатировали и тем самым интриговали русскую публику XVIII в., но и вступали в тесные взаимоотношения с вельможами высших чинов, в том числе напрямую контактировали с обеими императрицами. Однако роль авантюриста всегда была сложносочиненной. Он не только нарушал границу между реальностью и фантазией, но и пестовал в себе мессианское начало. А. Строев нередко именуется его «пророком»: авантюрист вполне сознательно избирал стратегию умелого искушения современников, особенно в чужих землях. Поражал их своими нестандартными внешним видом, образом мысли, неординарностью во всех проявлениях. В известном смысле и свою жизнь он творил как художественное произведение, неизменно утаивал от посторонних подлинную информацию, скрывал настоящее имя и происхождение, вел себя максимально непредсказуемо и благодаря этому всегда привлекал внимание. А неподдельный интерес к нестандартности делал свое дело — неспешно вел «старорежимного» человека в иное, удивительное будущее.

Авантюриста не устраивала единичная и устойчивая идентичность. Он поочередно примеривал разные облики и занятия. Так переменчивость и дар импровизации становились доминантными чертами этого типа личности. Жить в одиночестве или уединении — не его стезя. Ему, как театральному актеру, требовалось быть постоянно на виду и лицезреть восхищение в глазах публики. Он все время нуждался в одобрении и никогда не чурался громких скандалов. Постоянную смену личного амплуа авантюрист искренне считал своим высшим призванием. То есть он конструировал онтологическую идентичность, меняя лишь социальные формы, невзирая ни на какие социокультурные сущности. Авантюрист с легкостью «играл» в жизнь и смерть. Он мог опубликовать в газетах известие о своей кончине или выкинуть еще какой-либо фокус подобного рода. Культурным «открытием» авантюристов социолог может считать именно социальное лицедейство, которое, по версии И. Гофмана, станет базовой чертой субъекта развитого Модерна, причем совсем не обязательно маргинальной личности.

В этот коллективный портрет А. Строев добавляет важные нюансы. Для авантюристов, считает он, крайне важным было постоянное движение, вечный путь, полный риска. Он хоть внешне и стремился к успеху, но не желал его искренне, поскольку сама возможность обеспечить свою жизнь на годы вперед, по-семейному или карьерно обустроиться для него могла означать фатальную биографическую остановку. И тогда он переставал быть подлинным авантюристом. А иначе не объяснить, почему, к примеру, Казанова свою шелковую фабрику превратил в разорительный для себя гарем и всех работниц взял на содержание; ведь законный брак он почитал тюрьмой [3, с. 26].

Более того, авантюрист всегда легко расставался со своим прошлым, не желая знать и помнить родителей, придумывал себе другие имена, прикидывался подкидышем или незаконнорожденным ребенком; словом, вырывал всякие связи с корнями, стирал себя из коллективной памяти и начинал жизнь с чистого листа. Полностью расчистив стартовую площадку для своего уникального биографического путешествия, он чувствовал себя абсолютно свободным, пусть и совершенно одиноким. Как только не интерпретировали исследователи эту загадочную фигуру странствующего нарцисса эпохи Просвещения — прибежали даже к помощи психоанализа. Однако для социальной науки гораздо важнее понять, к каким социальным последствиям в итоге привел европейский авантюризм.

Документально известно, что авантюристы поддерживали друг с другом тесные отношения, создавали братства посвященных, которые были похожи, но лишь внешне, на популярные в то время «тайные общества» розенкрейцеров или масонские ложи. Они распространяли по миру французский язык, реже итальянский, парижские моду и нравы, литературные и философские новинки, а заодно и заразные болезни, одна из которых так и именовалась — «французская». И создали чуть ли не первое общеевропейское открытое «сетевое» сообщество без границ и условий, со свободными входом и выходом. Неслучайно авантюристы превозносили личностную модель абсолютно свободного от государственной принадлежности человека, то есть «гражданина мира»¹. И если европейские философы и писатели эту концепцию универсалистской светскости пропагандировали словом (как, к примеру, Вольтер и Оливер Голдсмит), то авантюристы — делом.

А. Строев уточняет, что отсутствие у них «дома, семьи и родины компенсируется вступлением в космополитические братства» [3, с. 33]. Авантюристы вполне корректно использовали в данном контексте слово «братство», которое впоследствии было включено в триаду знаменитого девиза французской революции, что, как правило, в XIX в.

¹ Автобиографическая книга авантюриста Ф. де Монброна претенциозно именовалась именно так: «Космополит, или Гражданин мира» (1750).

вызывало смысловую путаницу. «Свобода» и «равенство» — вроде бы понятные слова, но о каком «братстве» мечтали революционеры? А на самом деле эта идея на исходе Просвещения была предельно прозрачной: братства авантюристов суть свободные альянсы свободных людей, объединенных интересами и игровым отношением к жизни. Была ли революционная модель почерпнута из опыта взаимодействия с сообществами авантюристов, трудно сказать, но вполне вероятно, что ее корни следует искать скорее в реальной жизни, чем в сочинениях энциклопедистов (к примеру, Монтескье и Руссо, оказавших наибольшее влияние на сознание великих бунтовщиков).

Авантюристы одновременно могли участвовать в разных игровых конгломератах. К примеру, принадлежность к альянсу ученых не мешала дополнительной «прописке» в содружествах картежников, комедиантов, франкмасонов или кого-то еще. И в каждом случае низовая жизнь была организована как своеобразный театр со своими нормами и правилами, предполагавшими вечные гастроли и отказ от своего «Я» во имя временного актерского амплуа. Вот почему авантюрист стремился испробовать множество профессий, никогда не совершая окончательного жизненного выбора. Безусловно, все это напоминало, выражаясь современным языком, увлекательные «туры» в параллельную реальность. Но человеческие жизни тут действительно разыгрывались по всем правилам приключенческого жанра. Взаимоотношения между людьми выстраивались по законам воображаемой республики, где торжествовали принципы равенства и свободы. При этом важно подчеркнуть, что исторически это были значимые для эволюции культуры социально-символические игры. В них оттачивались новые общественные роли и ценности, а главное — отвергались старые иерархические нормы и детерминанты. Иными словами, это был великий эксперимент свободы, равенства и жизненного успеха, основанный на принципе индивидуального использования разума, без чего в недалеком будущем, по Канту, модернистский субъект стал бы социально неосуществимой мечтой. И его внезапное появление в канун столетия революционных потрясений в Европе произошло в привлекательной игровой форме. Так, авантюрист, известный нам под именем барон де Чуди, характерным образом озаглавил свой основной труд, посвященный, кстати, графу И. Шувалову: «Философ на французском Парнасе, или Игривый моралист» (1754).

Единая «Республика Словесности» Просвещения была не просто концептуальным фантазмом, но и социально осязаемой утопией публичной открытости, материализованной в сетевых отношениях реальных персонажей, и вполне может рассматриваться как провозвестница нового типа общества. Правда, к концу эпохи ее витальность существенно ослабевает и в то же время растет число «закрытых» масонских и мистических объединений. Но несмотря на это, авантю-

ристы по-прежнему мыслили себя единым целым и продвигали ценности свободной республики, создавая внутренние взаимозависимости и модели восходящей мобильности, претендуя на роль законодателей в сфере практического применения универсального разума.

Казанова, кстати, подписывался «депутатом Республики Словесности», когда сочинял для Екатерины Великой проект реформы российского календаря или когда подыскивал себе место при дворе польского короля Станислава Августа. Желание служить лично принцепсу и совершенствовать свой литературный талант — пожалуй, самые сокровенные мотивы биографического творчества авантюристов. И это, по мнению А. Строева, принципиально отличало их от типажа заурядного плута вне конкретного исторического времени и пространства. Авантюрист «размышляет над своим поведением, анализирует подвиги своих собратьев, создает теорию восхождения на вершины жизни» [3, с. 36]. Неважно при этом, *что* выступает главным предметом рефлексии — модели антисоциального поведения (как у Казановы, Калиостро) или истории шулеров (как у А. Гудара).

Иными словами, если энциклопедисты разрабатывали основы общественно ориентированного философского мышления Нового времени, создавая теоретический фундамент для будущей социальной науки, то авантюристы были подлинными «деятелями» Модерна. Эти лицедеи стали первыми свободно рефлекслирующими субъектами Европы, которые эмансипировали границы дозволенного в социальном воображении. Разумеется, все это свершилось «само по себе», совершенно непреднамеренно, ибо мотивы авантюристов, в отличие от просветительских, отнюдь не были прообщественными, да и долгосрочное планирование чего-либо никак не корреспондировало с их философией жизни.

Таким образом, опираясь на генеалогический метод, в фигуре европейского авантюриста социальный исследователь вправе обнаружить один из самых действенных инструментов, с помощью которых Модерн эффективно расчищал себе дорогу на Западе. Причем в восточноевропейских странах и в России последствия присутствия авантюристов были куда более результативными, чем в странах старой Европы. Несмотря на традиции самозванства, негативно маркированного в русском сознании, авантюризм выступил у нас скорее культурной неожиданностью и не вызвал никакого социального отторжения ни со стороны элит, ни со стороны рядового мещанства. Возможно, кстати, в том числе и в силу априорного доверия россиянина к европейцам, особенно к тем, кто по собственному желанию прибыл с «добрыми намерениями» на евразийский Север.

Россияне после культурного шока, испытанного в годы петровских тектонических сдвигов, во второй половине столетия куда искреннее хотели подражать европейцам в поведении, этикете, манерах, гово-

рении, думании и письме. Стать по максимуму «вестернизированными» во внешнем облике, пусть и в меньшей степени — по «духу». В этом солидарном стремлении к формализованным поведенческим и речевым переменам и заключался, по Н. Элиасу, цивилизационный процесс. Именно «процесс», ведь речь шла о генезисе социального человека, поведение которого должно было соответствовать универсальным нормам, быть предсказуемым. Его идентичность надлежало отстраивать не от его индивидуальности, а скорее от имитационной ролевой нормы. Причем принципиально ничего нового в тех ролях не прибавлялось, хоть и смещались акценты. А сами нормы в большей степени «разыгрывались», что и считалось тождественным натурализации новых ролей. В этом глубинном транзите от *быть* к *казаться* отчетливо просматривается культурный след, оставленный европейскими авантюристами в России. Казаться европейцем (или, если точнее, европеизированным) считалось самодостаточной биографической целью. Все свойственные западному универсализму метафизические смыслы с легкостью отменялись в пользу нового захватывающего «перформанса».

«Игры» при императорском дворе, на открытых городских площадках, на бирже и в салонах, в коридорах власти и в частных кулуарах — везде социальный человек, стремящийся *казаться* цивилизованным, подражал «среднему европейцу» и поэтому зачастую прибегал к консультационной помощи странствующих по России авантюристов. Инновационные социальные типы раннего Модерна, как, к примеру, «щеголь» и «философ», несмотря на резкую критику в их адрес со стороны русских мыслителей того времени (прежде всего Д.И. Фонвизина), довольно быстро и весьма основательно прижились на русской почве. Западные авантюристы, как правило, на публичных подмостках играли «щеголей», хотя идейно и ментально были ближе к «философам». Полного слияния двух ролей никогда не происходило. Все-таки щеголь раннего Модерна — это человек толпы, статист, столичный зритель. А авантюристы — вечно перемещающиеся с места на место комедианты и авторы своих же светских жизненных пьес [3, с. 72–73]. Подражать последним было сложнее, и это требовало природного дара, поэтому популярным низовым героем в России со временем становится именно «щеголь». Вполне логично, что его главным кумиром был Вольтер: яркий мыслитель и литератор, богат и советник монархов, но при этом заядлый картежник, удачливый плут и чрезвычайно изобретательный и изворотливый «человек дела».

На чужбине искатели приключений были распространителями и комментаторами слухов и сплетен, умело разыгрывали из себя рассудительных советчиков, тонких ценителей новомодных западных трендов, знатоков эзотерики, а нередко и талантливых визионеров. Барон Гримм — прекрасный образец такого информационного «проводни-

ка» всего новомодно-парижского далеко за пределы столицы западного универсализма. Он был близок Екатерине II по духу и менталитету, долгие годы находился с ней в доверительной переписке. И неудивительно, что подобные ему европейцы воспринимались «экспертами» в понимании того, что есть «подлинно настоящее». Более того, считалось также, что им открыты образы и смыслы «безусловно грядущего». А охочих получить такое знание в России всегда было предостаточно, включая высших сановников и даже царствующих персон. Эти компетенции добавляли престижа и приносили неплохой доход.

Однако не только просветительские «игры» стали важным вкладом путешествующих философов и авантюристов в общественную историю Российской империи. Их знания и образ мысли спровоцировали идейно-проектный транзит, что важно отметить в рамках социологической интерпретации. Об это специфическом аспекте А. Строев повествует в заключительном разделе книги. Но сперва немного предыстории.

Середину XVIII в. можно охарактеризовать как эпоху европейской колонизации России. Усиленная вербовка колонистов шла преимущественно во Франции, Германии и Голландии. Колонистам предлагались соблазнительные преференции для переселения, они были вправе исповедовать любую из ветвей христианства, не соблюдать российское законодательство во всей его полноте, а какое-то время их даже освобождали от налогов. Правда, это продлилось недолго: в 1764 г. Екатерина II изменит устав колонистов, предписав им подчиняться всем внутренним российским законам. А через пару лет массовые переселения прекращаются, и с той поры из Европы приглашаются на индивидуальных основаниях только квалифицированные ремесленники или ученые. Итоги той европейской колонизации оказались для переселенцев весьма плачевными. Одни погибли от голода и болезней, другие были убиты во время Пугачевского бунта, третьи — уведены татарами в рабство [3, с. 216]. По прогнозам французских физиократов, иностранные поселения должны были показать России путь к цивилизации. Стать внутренними локациями свободной экономики, способствовать образованию третьего сословия и привести страну к процветанию. Трудно не согласиться с А. Строевым, что на «карту ставилась репутация Российской империи и западной науки» одновременно [3, с. 218]. Ставки были высокими как для властей, так и для европейских просветителей. Но все, как обычно, пошло по худшему из сценариев: неоправданно большие надежды обернулись громадными разочарованиями.

Екатерину Великую интересовали в первую очередь именитые философы. Она долго увлекалась французской философией и могла отличить высокую мысль от эпигонской, особенно когда дело касалось европейской оценки текущего положения дел в России. Возможно, ее

привлекало еще и то, как искусно философы завладевали умами. Ей тоже хотелось повластвовать над общественным мнением, причем как в родном отечестве, так и за рубежом. Хорошо известна ее переписка с Вольтером, Дидро, д'Аламбером, Гриммом и многими другими. Менее известны широкому читателю факты прямого финансирования их деятельности российской императрицей. Так, к примеру, первые тома французской «Энциклопедии» были отпечатаны именно в России. Екатерина выкупила личную библиотеку Дидро, оставив ее ему в пожизненное пользование и выплачивала пенсион как библиотекарю. После Французской революции она некоторое время финансово поддерживала и барона Гримма. Однако не только шальные деньги и экзотика Севера привлекали европейских философов-авантюристов, а громадные перспективы для практического применения их социально-философских построений. Российская власть благоволила модернизационным намерениям великих европейцев. И здесь были поистине уникальные возможности, которых они были напрочь лишены у себя на родине. В России они сполна обретали свободу для общественных преобразований, хотя и не столь политически однозначную, как им представлялось и хотелось бы.

Известно, что мнения просвещенных европейцев относительно методологии российской модернизации разделились. Линии Вольтера противостояла принципиальная позиция Руссо. Вольтер, как и многие его современники, полагал, что полудикая Россия находилась в начале исторического пути и должна была бы двигаться в сторону триумфа цивилизации, разумеется, на парижский манер. Под этим углом зрения он пишет историю Петра I, активно корреспондирует с Екатериной Великой. Вольтер убежден, что Российской империи необходим корпус европейских наставников, способных направить ее по правильному курсу вестернизации. Руссо же исходил из того, что великой державой можно стать, лишь нащупав свою аутентичную цивилизационную траекторию. Вот почему в своем «Общественном договоре» он весьма категорично отрицал историческую полезность преобразований Петра I. Разумеется, в этом подходе прочитывается свойственный Руссо педагогический морализм. Однако у нас нет оснований сомневаться в том, что он искренне полагал: куда логичнее было бы воспитывать истинно русских, чем лепить из них плохие копии немцев и французов. Ведь простому народу цивилизация на парижский манер вовсе не потребна, ему нужна хорошая «дисциплинарная закалка». Кстати, и Дидро, главный теоретик просвещенной монархии, считал, что России этот тип власти не подойдет. Ибо он скорее научит подданных подчиняться воле монарха, нежели следовать нормам права. Вероятно, в этом методологическом противостоянии европейских умов кто-то увидит прообраз будущего спора западников и славянофилов. Но это было бы некорректным историко-социологическим упрощением.

Необъявленный спор французских философов не был публичным, он не имел ни идеологического, ни сугубо ценностного смысла, их расхождения имели исключительно методологический характер. Все они не сомневались в необходимости коренной модернизации России, разногласия же касались лишь субъектов этого процесса. Екатерине по понятным причинам был ближе Вольтер, а к Руссо она вообще относилась крайне недоброжелательно и, более того, не разрешала печатать его труды на русском языке. Но вот парадокс: в итоге она все же пошла по сценарию женеvского пророка, хотя изначально видела в Руссо опасного революционера, а он, конечно же, таковым не являлся. Но когда начинался разговор о просвещении народа и общественном договоре, Екатерина чувствовала себя, мягко говоря, весьма неуютно. Императрица заложила глубинную историческую колею для всей современной русской политической культуры. Власть на столетия вперед осталась недоверчивой к гражданскому дискурсу, подлинному просвещению и откровенно пренебрежительной к высокой философской мысли.

Знакомство широкой публики со взглядами просветителей в России шло через вторые руки, в том числе и благодаря близким ко двору авантюристам, что дало мощный импульс к легитимации в стране утопического мышления. Сближение социальной философии и власти наиболее характерно для периода правления Екатерины Великой, после нее наступила долгая эра их дистанцирования. И здесь перед социальным исследователем встает непростая задача: как адекватно оценить взаимодействие интеллектуальной мысли и политической воли в период расцвета русского Просвещения? Взаимное притяжение было действительно велико, но, как четко подметил А. Строев, «едва они переходили от слов к делу, немедленно наступало взаимное разочарование» [3, с. 220].

В частности, в коммуникации с Вольтером были задействованы все жанры словесности, но Екатерина намеревалась ограничить его влияние ролью придворного философа. Впрочем, стоило Вольтеру начать советовать, будучи оторванным от русской почвы, императрица тотчас же его отторгала, приглашая на его место следующего европейского мыслителя. И дело не в психологических и душевных свойствах Екатерины, нельзя и сказать, что она не принимала режим «совета» как таковой. Дело было, скорее, в нестыковке западной социальной философии и российской практики властвования и политического управления. Европейский универсализм, воспринятый как руководство к практическому действию, неизменно превращался в убогий утопизм. Он опирался на веру в могущество разума и не принимал в расчет привычки и нравы реципиентов иных культур. Практические наставления чужеземцев вызывали отторжение у властей, несмотря на всю их просвещенность и генетическое родство с фундаментальными

европейскими традициями. Возможно, образ философа как «говорящей обезьяны» сформировался в российском обществе именно в то время и оказался настолько живучим в нашей культурной среде, что и по сей день по-прежнему превалирует в обыденном сознании.

Впрочем, весь наш Философский век не следует рассматривать как единое и гомогенное время. Политика вестернизации царя-реформатора, как справедливо пишет А. Строев, была откровенно насильственной. Екатерина же не принимала столь строгого администрирования своих реформ и окружала себя больше «людьми дела», а «утопистов» отсылала обратно в Европу. Там в раннее Новое время и был рожден миф о философах как о «людях не от мира сего» [3, с. 222]. Оба этих стереотипа загоняли в тупик политическую власть и философскую мысль. Почти все попытки «примирения» скандально проваливались. А после того, как массовая миграция европейцев была приостановлена, в Россию стали приезжать по вызовам в лучшем случае академические ученые, представлявшие в основном естественные науки.

Приступая к составлению своего знаменитого «Наказа», Екатерина решила, говоря словами Канта, положиться на собственный ум и выбрать из европейской социальной мысли то, что сочла соответствующим отечественным культурным устоям и актуальным политическим условиям. Так, у Беккариа она активно заимствует все то, что характеризует юридические нормы и практики, отмечая в сторону их основу — теорию общего права. Тем самым императрица поспособствовала зарождению парадоксальной российской нормотворческой практики — опоры на современные законодательные предписания без учета рамочного верховенства права. Столь же избирательным стал и ее подход к политической философии Монтескье. У него она обнаружила много достойного для подражания, правда, в основном в политической коммуникации, решительно оставив за скобками всякое политическое свободолобие и, главное, автономность гражданского субъекта.

Базовая проблема, с которой сталкивалась российская власть при консультациях с европейцами, заключалась в том, *что* считать точкой отсчета для старта модернизации страны. По понятным причинам западные мыслители фокусировали внимание царствующих особ на двух магистральных темах: освобождение народа и установление новой образовательно-институциональной матрицы. И если первая тема по понятным причинам «тонула» в пустых разговорах, то ко второй отношение было куда более серьезным. Какую национальную модель народного образования брать в качестве образца? Французские просветители не рекомендовали франко-католическую и, напротив, продвигали немецко-лютеранскую модель. А в итоге Россия последовала австрийскому опыту, причем как в начальном образовании, так и в плане подготовки собственных учительских кадров. Показательно, что уже на заре правления Екатерины дипломатия европейских монар-

хий реально опасалась позитивных результатов этих реформ, полагая, что быстрый рост «третьего сословия» в России создаст для них «реальную угрозу».

Опасения оказались пустыми (а вот стереотип о «восточной угрозе» Западу — удивительно долговечным).

Великая императрица, как уже отмечено, с гораздо большей охотой приглашала практиков, хотя и в этом нельзя сказать, что сильно преуспела. Многие из европейских наставников, приезжая в Россию, попадали в умело расставленные сети придворных интриг и нередко характеризовались именно как пустозвоны и «прожектеры». Чаще всего они сами подавали поводы к тому, чтобы так и остаться в этом уничижительном статусе в коллективной памяти. Европейские авантюристы в России стремились вписаться в придворные контексты, однако русский фаворитизм чаще всего препятствовал их продвижению. Екатерина же избегала сокращения дистанции с иностранцами, предпочитая оставаться «русачкой». Таким образом, именно русские фавориты императрицы воплощали в жизнь то, к чему стремились европейские авантюристы. Все эти потемкины, орловы, зубовы, бецковы, куракины проявляли поразительную работоспособность и дьявольскую энергию на ниве государственного служения [3, с. 245].

Взвешивать «реальный» вклад европейских консультантов эпохи Просвещения в развитие нашей страны оставим историкам. Нам гораздо важнее обратить внимание на то, какая подлинная телеология скрывалась за европейской «готовностью» думать и советовать российским властям, как и в каком направлении реформировать страну. Зачастую эти мотивы были весьма амбивалентными, порой даже из разряда злокозненных. Россия воспринималась европейскими монархиями как геополитический вызов, и поэтому вдумчивому западному наставнику следовало думать о том, как не дать ей еще больше окрепнуть. Вот почему, рекомендуя конкретные шаги и исходя будто бы из общих принципов западного универсализма, они прежде всего стремились оценить, к каким реальным последствиям могли бы привести те или иные действия.

Так, к примеру, шевалье д'Эон, автор «Рассуждения о легкости революции в России», которого А. Строев включил в свой список авантюристов, уже в правление Елизаветы призывал к отмене «позорного рабства», к совершению политического переворота во имя свободной формы правления. Д'Эон действительно мог быть подлинным сторонником республиканизма и отстаивать примат верховной власти народа в российской «правовой республике», он отчетливо понимал, что заинтересованность европейской дипломатии в подобном сценарии продиктована тем, что он неизбежно привел бы к ослаблению империи, а не к ее прогрессу. Именно так рассуждали многие европейцы. Как предельно прозрачно сформулировал французский посол барон де

Бретей после прихода к власти Екатерины II: русскую нацию надлежало сокрушить «с помощью ее самой», то есть благорасположить элиты к республиканским принципам, которые на деле противны укладу и законам страны [3, с. 234–235].

Однако далеко не всегда в европейском консультировании содержался скрытый умысел. Дидро, много писавший о демократических преобразованиях в России, изначально искренне верил в них, но после пребывания в империи в течение 1773–1774 гг. в корне пересмотрел свое мнение. Лучшее — как интерпретирует А. Строев перемену его ума, — что «может случиться с Российской империей, — это ее крушение, распад на дюжину мелких государств: тогда порядок, наведенный в одном из них, послужит примером для других» [3, с. 233]. Важно понимать, что в этом вполне авантюрном размышлении нет явной злонамеренности. Вряд ли Дидро видел себя бенефициаром в случае реализации подобного сценария, но этот тип проективного мышления иначе как наивным фантазерством не назовешь. Увы, под влиянием авантюристов именно социальная маниловщина прижилась в России на целый век и оставалась популярной вплоть до становления отечественной социальной школы в конце XIX столетия.

Екатерина II тщательно изучала все «благородные» советы и, обнаруживая в них двойное дно, предлагала российской публике свою интерпретацию буквально каждого казуса реформаторских провалов. Ее общая презумпция была вполне технологичной: виноваты не ученики, а учителя. Таким изысканным путем она представляла многих европейских авантюристов шарлатанами и обманщиками и внушала свое суждение российской публике. Обладая большим литературным даром, императрица легко переиначила на русский лад критический культурный тренд, именуя европейцев «недотепами», не способными вникнуть в самобытность русских. Вспомним в связи с этим негласную «дуэль» императрицы с французским миссионером и астрономом, членом Парижской академии наук аббатом д'Отрошем, автором нелицеприятных воспоминаний по итогам своей командировки в Россию². Императрица последовательно разбирает все его — подобные яду — наблюдения и публикует свой анонимный монографический ответ, изданный только на французском языке в Амстердаме, под характерным для этого жанра названием «Антидот» (1770). Адресатами книги были именно европейцы, а не ее подданные. Императрицу, конечно же, интересовала репутация ее страны в Европе, а не поиск истины.

² В 1761 г. Жан Шапп д'Отрош (*Jean Chappe d'Auteroche*, 1722–1769) по поручению Парижской академии наук прибыл в Тобольск для наблюдения за прохождением Венеры через диск Солнца 26 мая (6 июня) 1761 г. Особый интерес астрономов к этому явлению был связан с новым методом определения солнечного параллакса (расстояния от Земли до Солнца), предложенным в 1716 г. английским астрономом Э. Галлеем.

В век Просвещения западный мир и (с некоторым отставанием) Россия дрейфовали в одном цивилизационном направлении. Несмотря на известную геополитическую конфронтацию, оба макрокосма жили в целом по общему трансформационному сценарию. Французская революция и наполеоновские войны развели их по разным историческим тропам. На исходе эпохи Гегель выразит ее глубинный смысл в «Феноменологии духа», введя понятие «отмены». С его помощью европейская мысль в следующем столетии попыталась объяснить, каким образом и почему весь европейский мир неизбежно проходит через радикальный и открытый отказ от норм, принципов, идей, ценностей и практик до-модерновой социальности, почему нечто привычное объявляется «недействительным». Что-то в этом процессе было подчинено жесткой исторической логике и было вполне осознано его акторами, но что-то произошло ненароком, само по себе. В современной науке гегелевская «отмена» трансформировалась в социологически оформленную концепцию трансгрессии.

В ряде стран «отмена» была кардинальной и почти мгновенной, если ее базовым механизмом являлись ранние революции. Но неверно считать, что настоящая «отмена» началась лишь с изобретением гильотины, которая физически обезглавливала старую элиту, но и метафорически столь же решительно кромсала социокультурную ткань. Очевидно, что задолго до наступления эры великих потрясений западное просветительское движение, будучи бунтарским по духу, но отнюдь не по социальному действию, производило не менее серьезные отмены — незаметно, кулуарно и не всегда осознанно. Важнейшими акторами предреволюционной трансгрессии выступили именно европейские авантюристы. Их мотивы всегда были эгоистичными, их социальные новации не имели прямых аналогий в истории, а повседневный труд саморазвития и «пробуждения» широкой публики способствовал методичной расчистке завалов до-модерновой социальности.

Поэтапной «отмене» в XVIII столетии подвергся старый придворный мир Европы, за чем последовали более серьезные трансгрессии, захватившие высшие сословия и мещанство. Монархии ослабевали, а где-то и вовсе рассыпались, как карточные домики, авторитарная власть была потеснена правовым государством. Правда, борьба с «республиканизмом» повсюду, в том числе в России, часто сводилась лишь к этикетно-коммуникативным запретам, ибо, как прекрасно высказалась по этому поводу Екатерина Великая, с идеями бессмысленно бороться пушками. Кстати, император Павел вслед за запретом революционной французской моды резко ужесточил в России цензуру и даже ввел списки запретных слов и понятий иностранного происхождения. Вместо них надлежало употреблять исконно русские. Среди первых вычеркнутых из публичного обращения были и прижившиеся в правление Екатерины понятия гражданско-политического обихода.

Для старой сословной власти стало очевидно экзистенциальная угроза, которая могла исходить от модернистского субъекта, и поэтому его следовало вновь обрядить в старые одежды, а из публичного языка извлечь «опасные» слова, подобные «отчизне» и «гражданам», заменив их на «государство» и «население». А параллельно и языковая стигма «авантюрист» постепенно стала приобретать современное негативное значение. Так из привлекательных «героев» они в следующем столетии превратились в маргиналов и антигероев. И только тогда по своей сути и семантике стали немного ближе к феномену «чужаков», впрочем, все равно напоминали их весьма отдаленно.

* * *

В этом небольшом очерке трудно осветить все вопросы, поднятые историком литературы А. Строевым, многие любопытные для обществоведов детали неизбежно остаются за скобками. И поэтому в заключение хотелось бы вновь подчеркнуть актуальность сегодняшнего синтеза социального и гуманитарного знания. Чем глубже современные исследователи проникают в историческую суть эпохи Просвещения, тем отчетливее фундаментальная наука осознает, насколько то удивительное цивилизационное время было пронизано актами индивидуальной и групповой трансгрессии. В нескончаемой череде экспериментов с идентичностями, внешними и внутренними социальными границами, социальными нормами и ценностями рождался новый модернистский субъект, которому суждено было пройти сквозь невероятные смятения и приступить к новому освоению мира, точнее — к его конструированию. Впрочем, в ту дореволюционную эпоху это конструирование оставалось неосознанным, а «игры» Просвещения порождали лишь непредвиденные последствия. Как справедливо писал один из основателей интеллектуальной истории А. Лавджой, эволюция идей познается не как логический процесс и не во имя обнаружения рациональных оснований объективной истины; она постигается через свои социальные последствия [1]. И именно в этом фундаментальная особенность социологического взгляда на историю.

Очевидно, что авантюристы Просвещения своим образом жизни и мысли, наряду с представителями «третьего сословия», расчистили поле для сотворения европейского Модерна. Но поскольку в России с «третьим сословием» дела обстояли не столь благополучно, как в передовых странах Запада, здесь именно авантюристы — разумеется, рука об руку с первыми лицами империи — в большей степени поспособствовали «отмене» многих побудительных принципов и запретов старой культуры. Но, пожалуй, самое главное в том, что они воспитали в людях навык социально-абстрактного мышления, подарили им социальную надежду и привили вкус к утопическому проектированию, утвердили практику и нормы социальной мобильности и многое другое,

что стало характеризовать новую российскую социальность. Но то, что исторически случилось, обернулось непредвиденными последствиями «игр» Просвещения.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Согомонов Александр Юрьевич — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН.

Телефон: +7 (903) 966-07-44. **Электронная почта:** sogi@mail.ru

Research Article

*ALEXANDER YU. SOGOMONOV*¹

¹ Institute of Sociology of FCTAS RAS.

5 bl., 1, Bolshaya Andronievskaya str., 109544, Moscow, Russian Federation.

“GAMES” OF ENLIGHTENMENT: THE CONTRIBUTION OF HISTORICAL STUDIES TO SOCIOLOGICAL THEORY OF EARLY RUSSIAN MODERNITY

Abstract. This essay is constructed in the form of a sociological re-interpretation of the ideas outlined in a book written by A. Stroyev titled “Avantyrysty Prosveshcheniya [Adventurers of Enlightenment.]”, representing by itself a unique example of humanitarian synthesis of historical and philological methods in studying the very phenomenon of European adventurism. The author, an internationally recognized expert in the history of western literature, realized a long-term project dedicated to researching European adventurers and what life was like for them in the Russian Empire during the second half of the 18th century. At that time the word “adventurer” had less of a negative connotation than before or since. The term was used to define an individual who was not restricted in their mobility, be it territorial, textual or societal. There were quite a few personalities who etched their names into Russian history books. They were mostly Frenchmen and Italians, among which were famous figures like Casanova and Cagliostro, but a lot of those adventurers were not nearly as well known, as impactful as they were. They were not scammers or charlatans; moreover, their identity was not about fooling members of society by any means. All of them were highly educated, extremely creative persons and gifted writers. They were not content with their identity being boiled down to any single aspect: they constructed their lives as a piece of art, regularly changing their image and occupation. All of their behavioral patterns appealed to play and theater-like acting. Thus, Russian elites were very attracted to them, this including empresses, as were ordinary lay people. In this sense they contributed to the very process of conceiving new social roles in Russia’s conservative society, while disseminating values of freedom and equality, republicanism, and network-societies, and finally promoting and embodying the philosophy and ideals of a highly mobile modern individual. Playing the roles of knowledgeable “consultants”, they cultivated the taste for social imagination and utopianism among Russian aristocracy, and not only. French philosophers, visiting Russia as adventurers and keeping respectful relations with Kathrine II, offering her their consultancy, nevertheless did not influence the course of Russian modernization. They failed in all attempts to prove their theoretical constructions in practice. And Russian authorities, on its side, rejected their advice as being inadequate to our realities, strengthening so far anti universalism in politics and culture. To sum things up, we can say that European adventurers inadvertently facilitated the early Modern process of transgression of the vast majority of old principles and stereotypes. But nevertheless, all of these social consequences were unintentional

and, in many ways, accidental. Adventurers were ego-driven, and with them being the new social “facts per se” they were a powerful driving force that contributed to long term repercussions in Russia’s westernization.

Keywords: the synthesis of social and humanitarian knowledge; intellectual history; Enlightenment; early Modernity; European adventurers in Russia; philosophers and authorities; early modern social roles and identities; genesis of modern subject.

For citation: Sogomonov, A.Yu. “Games” of Enlightenment: The Contribution of Historical Studies to Sociological Theory of early Russian Modernity. *Sotsiologicheskii Zhurnal = Sociological Journal. 2024. Vol. 30. No. 2. P. 139–162. DOI: 10.19181/socjour.2024.30.2.7*

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Alexander Yu. Sogomonov — Candidate of Historical Sciences, Leading Researcher, Institute of Sociology of FCTAS RAS. **Phone:** +7 (903) 966-07-44. **Email:** sogi@mail.ru

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. *Лавджой А.* Великая цепь бытия / Пер. с англ. В. Софронова-Антони. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. — 372, [1] с.
Lavejoy A. The Great Chain of Being. [Russ. ed.: *Velikaya tsep' bytya*. Transl. from Eng. by V. Sofronov-Antonomi. Moscow: Dom Intellectualnoy knigi publ., 2001. 368 p.]
2. *Оффорд Д., Ржеуцкий В., Арджент Г.* Французский язык в России / Пер. с англ. К. Овериной. М.: НЛО, 2022. — 887 с.
Offord D., Rzheutsky V., Arjent G. *Frantsuzskii yazyk v Rossii*. [French Language in Russia.] Moscow: NLO publ., 2022. 887 p. (In Russ.)
3. *Строев А.* Авантюристы Просвещения / Изд. 2-е, испр. и доп. М.: НЛО, 2023. — 429 с.
Stroev A. *Avantyristy Prosveshcheniya*. [Adventurers of Enlightenment.] 2nd ed. Moscow: NLO publ., 2023. 429 p. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию: 26.03.2024; поступила после рецензирования и доработки: 02.06.2024; принята к публикации: 13.06.2024.

Received: 26.03.2024; revised after review: 02.06.2024; accepted for publication: 13.06.2024.